

На переломе — эпизод 27 из 27

Чем дальше тянулось время, тем менее находил он в себе решимости признаться матери в своем долге Грузову за волшебный фонарь. Он смутно понимал, что Аглая Федоровна, по своему властному, придиричивому и чувствительному характеру, во что бы то ни стало выпытает у Миши все подробности и тогда уж непременно полетит жаловаться самому директору корпуса. Что ей за дело до того, что она навеки погубит товарищескую репутацию Буланина в его тесном, замкнутом кадетском мирке. Конечно, она считает все эти железные внутренние законы просто мальчишескими выдумками, которые разлетятся прахом, стоит только открыть глаза начальству. Так думал за нее Буланин, и не ошибался, и был в данном случае мудрее и проницательнее своей матери.

И он не открывался ей. Он предпочитал приходить в корпус с пустыми руками и получать жестокие побои от Грузова. Иногда ему удавалось внести в счет долга гривенник, или пару яблоков, или пяток украденных у матери папирос. Но долг от этого уменьшался едва заметно, потому что Грузов запутал своего должника сложной системой ростовщичьих процентов.

Наконец однажды, зимним утром, в понедельник, после чаю, когда во всех классах и залах горели лампы, а кадеты уныло дрожали от холода, Грузов ткнул Буланина кулаком в зубы и сказал:

Слушай меня, ты, жулябия! Вижу, что деньги мои ты зажил. Начнем счет снова. Ну, вот я тебе говорю: утренняя булка две копейки, вечерняя копейка, завтрак три копейки, второе блюдо за обедом две, третье три. Когда хочу тогда спрашиваю. Согласен? И это пусть будет за проценты. А два рубля отдашь потом.

Хорошо, сказал Буланин, не поднимая глаз.

Кроме того, будешь мне каждый день чистить сапоги. Это тоже за проценты... Да?

Хорошо.

Наступило для Буланина жуткое, тяжелое время. Грузов отбирал у него все утренние булки, все вкусные завтраки и непременно третье блюдо за обедом, а иногда и третье и второе. Сапоги он должен был чистить Грузову до совершеннейшего глянца, иначе тот бил его и прогонял чистить вторично. Все это, вместе с недоверием к матери, с невозможностью объяснить с нею и попросить помощи, сильно угнетало мальчика. Он опустил, стал рассеян, сделался неряхой, перестал учиться. Его постоянно наказывали, то ставя под лампу, то лишая пищи. И случалось нередко, что за целый день он питался

только тарелкой супа и двумя кусками черного хлеба остальное шло Грузову и школьному правосудию.

Он побледнел, погрубел, обозлился и, сам не желая этого, очутился на счету отчаянного. Его все чаще и чаще лишали отпуска. Нельзя сказать, чтобы эта воспитательная мера помогала его расстроенной душе. Когда же он изредка приходил в отпуск, то Аглая Федоровна с вечера субботы до вечера воскресенья выговаривала ему о том, каковы бывают дурные мальчики и какими должны быть хорошие мальчики, о пользе труда и науки, о мудрости опыта, в которую надо слепо верить, а впоследствии благодарить за преподанные уроки, и о прочем. Все это были золотые, но ужасно скучные и неубедительные истины.

Буланин и сам уж не так охотно ходил в отпуск в те редкие недели, когда это ему разрешалось. Он изнервничался, стал шутовать перед товарищами, терял мало-помалу вкус к жизни и детское самоуважение. Тут-то над ним и разразилась катастрофа.

В воскресенье он был без отпуска. После обедни устраивали слона, играли в горки, переодевались в вывернутые наизнанку мундиры, мазали себе лица сажей из печки. Буланиным овладела какая-то пьяная, истерическая скука.

Стали ездить верхом друг на друге. Буланин сел на плечи рослому Конисскому и долго носился на нем по залам, пуская бумажные стрелы. В арке, между залами, стоял штатский воспитатель Кикин, так, безличное существо, одинаково робевшее и заискивавшее как перед мальчишками, так и перед начальством. Буланину бросились в глаза пряди его масленистых, бурых, разноцветных волос, спускавшихся с затылка на воротник. Он велел своей лошади остановиться и взял осторожно двумя пальцами одну косичку. Для чего он это сделал, он и сам не знал. Против Кикина он не имел злобы. Молодечествовать тоже было не перед кем, потому что кругом не было зрителей. Просто он это сделал от темной, острой тоски, которая переполняла его душу.

Но Кикин вдруг обернулся, побледнел, крикнул: Что вы делаете! и поспешно побежал в дежурную. Через полчаса Буланина отвели в карцер, где продержали сутки.

А в четверг, после утреннего чая, всех кадет младшей роты, вместо того чтобы распустить по классам, построили в рекреационной зале. Собрались воспитатели всех четырех отделений, первого и второго класса, и наконец и это было уж совсем необыкновенным явлением пришел директор. Было еще не светло, и в классах горели лампы.

Директор вынул из-за обшлага какую-то бумагу, и Буланин вдруг задрожал мелкой, противной, безнадежной дрожью.

По постановлению педагогического комитета, кадет Буланин, позволивший

себе такого-то числа возмутительно грубый поступок по отношению к дежурному воспитателю, приговаривается к телесному наказанию в размере десяти ударов розгами.

Случилось вдруг отвратительное чудо. Прежде было сто мальчиков, ничем друг от друга не отличавшихся, и между ними равный всем Буланин, и вот он выделился, далеко отошел ото всех, заклеянный исключительным позором. Тяжесть навалилась на него, пригнула его к земле, приплюснула.

Кадет Буланин, выйдите вперед! приказал директор.

Он вышел. Он в маленьком масштабе испытал все, что чувствует преступник, приговоренный к смертной казни. Так же его вели, и он даже не помышлял о бегстве или о сопротивлении, так же он рассчитывал на чудо, на ангела божия с неба, так же он на своем длинном пути в спальню цеплялся душой за каждую уходящую минуту, за каждый сделанный шаг, и так же он думал о том, что вот сто человек остались счастливыми, радостными, прежними мальчиками, а я один, один буду казнен.

В спальне, в чистилке, стояла скамейка, покрытая простыней. Войдя, он видел и не видел дядьку Балдея, державшего руки за спиной. Двое других дядек Четуха и Куняев спустили с него панталоны, сели Буланину на ноги и на голову. Он услышал затхлый запах солдатских штанов. Было ужасное чувство, самое ужасное в этом истязании ребенка, это сознание неотвратимости, непреклонности чужой воли. Оно было в тысячу раз страшнее, чем физическая боль...

Прошло очень много лет, пока в душе Буланина не зажила эта кровавая, долго сочившаяся рана. Да, полно, зажила ли?